

## II. ГОДЫ СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ (1889–1895)

### В Московском университете

Первые дни по приезде в Москву в августе 1889 г. были заняты у меня выяснением в университете, когда начнутся лекции, какие профессора и где будут их читать, где можно получить программы и т. д. Попутно завязывались первые знакомства. По предложению одного из новых знакомых Евгения Панова, приехавшего учиться медицине из Твери, я поселился в одной комнате с ним в чердачном помещении на Воздвиженке, недалеко от университета. Насколько малое значение имело тогда для меня удобство жилья и даже сам вопрос о жилищных условиях, видно из того, что мне и в голову не пришло сначала посмотреть помещение, а потом решать, селиться в нём или нет. Вход в комнату был с чердака, выше пятого этажа. Окно маловато освещало комнату, но она была довольно просторна, так что вскоре к двум первоначальным моим сожителям — Панову и Постникову — добавился ещё и третий — тверяк Мишка Дьяков. В отличие от первых двух, в вечерние часы, когда мы садились за книги или занимались приведением в порядок конспектов, Дьяков непрерывно рассказывал все свои впечатления за день, либо о своих деревенских друзьях. Он был сыном тверского либерального помещика. Его радикализм и народолюбие облечены были в чисто внешние формы усвоения деревенских манер, постоянное сплёвывание на пол во время курения цыгарок, и, ещё того хуже, — в непрерывное, без нужды, употребление невыносимо пакостных слов. Ни к какой систематической работе у него не было привычки, и потому он всё время стремился разговаривать. По существу, он был, несомненно, добрый и честный мальчик, но переносить его сплёвывания, курение и, в особенности, его пакостные выражения мне было невыносимо, поэтому, оставаясь в самых лучших отношениях с тверичами, я довольно скоро перешёл в другое жильё.

До начала регулярных занятий я много времени тратил на ознакомление с Москвой. Разумеется, осмотрел я и «Царь-Колокол», и «Царь-Пушку», подымался на колокольню «Ивана Великого», откуда Москва «виделась, что муравейник»... Получил полное разочарование от тогдашнего Ботани-

ческого сада. Его не без труда разыскал где-то за Сухаревой башней на Мещанской улице. Он показался скучным по сравнению с Киевским. Зато с интересом, до полной усталости осматривал Политехнический музей с его большими моделями угольных копей, шахт и заводов. Когда начались лекции, я перестал тратить время на экскурсии, но каждое утро в ранние часы вместо утренней зарядки совершал полутора-двухчасовые прогулки обычно по верхней дорожке кремлёвских стен и по всему их периметру, вокруг Кремля и Китай-города, либо по берегу Москвы-реки. Тогда через неё еще не было великолепных мостов, но была в районе храма Христа Спасителя плотина для поднятия уровня воды в реке.

Раньше всех начал читать лекции профессор Анатолий Петрович Богданов (по зоологии) об одноклеточных. Аудитория его в Зоологическом музее, в так называемом «новом» здании Московского университета была всегда полна. Он читал ровным тихим голосом, но самым содержанием своих лекций приковывал внимание слушателей, и в аудитории господствовала напряженная тишина. Начав с простейших одноклеточных амёб, профессор на их изучении развёртывал всю глубину познаний о сущности животной клетки, о процессах ее питания, ассимиляции и дезассимиляции, о разрушении и удалении отбросов, об эктоплазме и эндоплазме, первичных движениях плазмы, псевдоподиях и вакуолях, о ядре и ядрышке, о делении у одноклеточных и пр. На жизни амёб он показывал сущность жизненных процессов, на иглокожих — развёртывал значение простейших в образовании целых геологических пластов земной коры. Невысокого роста, с широкими очертаниями всей своей фигуры и мягким лицом, профессор Богданов носил кличку у студентов «амёбы». При этом он пользовался общим уважением и репутацией большого ученого.

В то время ему было не более 55 лет, но мне он казался почти стариком, с медлительными движениями, всегда внимательным. Из каждого отряда, класса и рода животных он останавливался особенно подробно на тех видах, которые играют ту или иную роль в медицине — в патологии или фармакологии. Когда приходилось обращаться к нему после лекций с вопросами, он очень благожелательно и внимательно выслушивал и давал ответы. Помню, после первых лекций я обратился к нему с просьбой порекомендовать подходящее пособие. Он сказал, что наиболее соответствует его курсу Blanchar «Zoologie médicale», и посоветовал приобрести эту книгу через магазин иностранной литературы на Петровке. Я последовал его совету, и хотя двухтомная работа Бляншара оказалась разорительной по своей цене для моего скудного бюджета, зато добросовестное штудирование её не только удовлетворило моё желание иметь пособие к лекциям, но и расширило и укрепило моё знание французского языка.

По сравнению с лекциями профессора Богданова, лекции бывшего его ученика молодого профессора Зографа по другим разделам зоологии и по сравнительной анатомии животных мало привлекали внимание, хотя Зограф читал лекции громче и сам был более оживлён. Кажется, в связи с лекциями профессора Зографа я купил на рынке у Цветного бульвара кролика и несколько лягушек, и мы сообща упражнялись в их препарировании, изучая их внутренние органы, сосудистую систему и, главное, нервы.

Вопрос о том, куда деть останки животных, был разрешён поздней ночью: завернув их в газету, я спустился с пятого этажа и положил свёрток в одну из ниш капитальной каменной ограды Архива Министерства иностранных дел. Ограда находилась как раз против дома на Воздвиженке, в котором мы жили (теперь на месте Архива МИД воздвигнуто грандиозное здание Библиотеки им. Ленина).

Особенно дорожил я лекциями по физике профессора Столетова, которые он читал в зале нового здания университета рядом с физическим кабинетом. Эти лекции сопровождались очень хорошо подготовленными опытами и показательным материалом. Удачные опыты, наглядно объяснявшие и дополнявшие изложение, доставляли удовлетворение и самому лектору, всегда неизменно серьёзному.

С некоторым позированием читал свой курс профессор анатомии Д. Зернов. Он картинно закидывал голову с богатой, уже серебрившейся шевелюрой. Но больше, чем лекции профессора, занимали студентов занятия и постоянная сдача зачётов у его ассистента доцента Алтухова. Это был грубоватый, находивший вкус в пикантных словцах и выражениях, преподаватель. В первом семестре занятия по разделу «Кости, связки, мышцы» состояли в совершенно точном заучивании всех латинских названий и морфологических частных.

С интересом слушали мы в течение всего первого семестра лекции профессора Д. Н. Анучина по антропологии, проходившие в антропологическом кабинете, в здании Исторического музея. Лекции сопровождались тщательным рассматриванием коллекций черепов.

Наряду с лекциями на медицинском факультете я с большим интересом слушал на юридическом факультете лекции по политической экономии профессора А. И. Чупрова. Его лекции, хотя он и не прибегал ни к каким искусственным ораторским приемам, а читал серьёзно, увлекали аудиторию и неизменно оканчивались взрывом аплодисментов.

В качестве доцентского курса для первокурсников читал лекции по истории и энциклопедии медицины Беллин. Я аккуратно посещал их, но решительно не могу вспомнить их содержание. Читались лекции скучно и не вызвали интереса. Зато легко и с большим интересом слушались лекции по неорганической химии профессора Сабанеева. Они проходили в большой химической аудитории с расположенными амфитеатром местами для слушателей. Читал профессор Сабанеев громко, не очень плавно и без всяких отступлений в сторону каких-либо широких обобщений, но всегда, систематически, сопровождал лекции опытами. К концу лекции он всегда приберегал рассказ о такой реакции, которая была бы связана с громким взрывом. Это вызывало шумное одобрение невзыскательной аудитории.

Ввиду малочисленности в Московском университете студентов из Нежина мы после знакомства с тверичами, по их предложению, вошли в состав Тверского землячества, а от Тверского землячества в общестуденческий Союз землячеств был добавлен представитель от нежинской группы. Таковым был выделен я. В то время в земляческих организациях намечалось стремление придать им характер только кружков взаимопомощи, без участия в решении каких бы то ни было общественно-политических задач,

таких, как объединение студенчества для борьбы за демократические права, против политического бесправия, угнетения и эксплуатации народных масс. Тверское землячество принадлежало к передовым, наиболее радикальным членам Союза землячеств и, получив в моем лице дополнительный голос, стремилось усилить в нём борьбу за придание союзному совету значения руководящего центра студенческого движения, за придание этому движению общественно-политического характера.

Казалось, что после разгрома в 1887 г. всех студенческих организаций и введения тогда же нового университетского устава в университетах была уничтожена почва для возрождения прежних проявлений радикально-демократического общестуденческого движения. На деле, однако, это не подтвердилось.

Когда в Москве была получена весть о смерти незадолго до этого вернувшегося из сибирской ссылки Н. Г. Чернышевского (он умер в Саратове в ночь с 16 на 17 октября 1889 г.) и в «Русских ведомостях» появился некролог, составленный, по цензурным соображениям, выражаясь языком Щедрина, «применительно к подлости», само собой явилось желание как-то выразить отношение студенчества к этому писателю. На экстренном совещании совета Союза землячеств решено было организовать общестуденческую сходку, посвящённую памяти Чернышевского, а для этого призвать студентов на панихиду по нему. За соответствующую плату священник церкви на углу Тверского бульвара и Тверской улицы, против прежнего места памятника Пушкину согласился отслужить панихиду в 3 часа дня 19 октября. Чтобы не дать возможности полиции помешать осуществлению этого замысла, решено было никому не говорить о панихиде до 2 часов дня и сделать устное приглашение идти на панихиду во всех аудиториях университета и Петровской сельскохозяйственной академии при окончании лекции в 2 часа. Все аудитории были распределены между членами Совета.

Мне выпала обязанность объявить о панихиде по Н. Г. Чернышевскому после лекции Столетова. Сообщив о смерти писателя, я призвал всех отправиться в церковь против памятника Пушкину. Спустившись вниз и одевшись, я отправился по Большой Никитской. Видно было, что несколько студентов поодиночке и группами идут к бульвару. На бульваре уже образовался поток студентов, а у памятника Пушкину и в церковном дворе было уже сплошное студенческое море. К этому времени пришли от Страстного монастыря приехавшие на «паровой конке» большие группы петровцев (студентов Петровско-Разумовской сельскохозяйственной академии). Выходившие из церкви по окончании панихиды образовали всё нарастающую толпу, заполняющую часть бульвара и площадь вокруг памятника Пушкину. С верхних ступенек подножия памятника один из руководителей обратился с призывом пройти траурным шествием в память Н. Г. Чернышевского по бульвару к университету.

В полном порядке и тишине шествие направилось к Никитской. Когда головная часть уже поворачивала на Никитскую, конец шествия всё ещё выстраивался рядами во всю ширину бульвара у Страстной площади. У редакции «Русских ведомостей» произошла остановка. Вызвав представителей редакции, руководители Совета громко зачитали протест московского

студенчества против помещённого в газете некролога, умалявшего заслуги Чернышевского перед русским обществом, значение его в борьбе за свободу, права и экономическое развитие народа; протест против допущенных в некрологе неуместных выражений в угоду цензуре об «ошибках и заблуждениях» писателя. Прочитанный протест передали в редакцию для напечатания. Затем участники манифестации вошли с Никитской в университетский двор и через проход под старым зданием собрались перед главным входом. В это время Моховая улица и входы в университет с неё были уже оцеплены пешей и конной полицией. После тщетных переговоров с представителями университетского начальства об отмене занятий на следующий день в знак траура, решено было закончить манифестацию. Расходились постепенно, никто не был арестован.

Небольшие сбережения, сделанные в последние гимназические годы из заработка за репетиторство, быстро истощились, несмотря на все мои урезывания расходов. Я переселился в район Бронных улиц в небольшую комнатку в Богословском переулке в квартире старого типографского рабочего, наборщика по профессии. Комнату сняли вместе с товарищем по гимназии Павловичем. Хозяин наш был членом общества взаимопомощи наборщиков. В то время моё денежное положение было столь плачевно, что я не мог обедать даже в «Ляпинке», где обед стоил 10–15 копеек. Но там всегда стоял на столе хлеб, и его можно было есть бесплатно. Оплатив талоны на чай, я, главным образом, и питался хлебом. Дома вечером мы ограничивались также чаем и хлебом, изредка добавляя немного сыра из расчета не более пяти копеек в день. Тогда сыр, в красных головках, появился по дешёвой цене в продаже в лавках Москвы из артельных Тверских сыроварен. И именно скудное, совершенно недостаточное питание было причиной некоторого нервного угнетения, которое я испытывал. Мне было очень трудно работать в анатомическом театре. Вид трупов неотступно преследовал меня и днем, и ночью. Это было жуткое чувство, заставлявшее меня думать о переходе с медицинского на другой факультет. Преодолевая себя, я старался всё же в срок сдавать на трупе очередные зачёты.

Наш хозяин-наборщик был интеллигентный человек, но жена его и вся жившая с ним родня были выходцами из тверской деревни. Однажды, придя вечером домой, мы застали оживлённую работу по уборке, мойке и чистке всей квартиры, в том числе и нашей комнаты. Оказалось, что ожидали «явления» в квартиру чудотворного образа — Иверской иконы Божьей Матери. До Октябрьской революции эта икона, в обрамлении, украшенном драгоценными камнями, помещалась в часовне у Иверских ворот подле Исторического музея. Перед иконой всегда горели лампы и большие свечи, приносимые верующими, а сами молящиеся, коленопреклоненные, и днем, и до поздней ночи с земными поклонами молились прямо на улице. На время с двух часов ночи до шести утра священнослужители снимали икону, ставили её в специальную карету и объезжали, по особому заказу, богобоязненных москвичей для молебнов и служб об исцелении болящих и избавлении от всяких напастей и бед. Зная, в какой дом ночью явится «Иверская», все соседи собирались во дворе, на улице или в квартире, чтобы получить благословение и окропление водой. Кроме денежной платы

для священнослужителей готовилось достойное угощение. Около трёх часов ночи с песнопениями и молитвами внесли в тяжелой раме икону в квартиру наборщика, отслужили молебен и окропили все комнаты, включая и нашу. Затем карета с иконой отправилась в предназначенный ей на данную ночь путь, а собравшаяся родня хозяина ещё долго оставалась за трапезой, мешая нам уснуть. После Октябрьской революции на месте часовни Иверской Божьей Матери водружен был плакат: «Религия — опиум для одурманивания верующих».

Моё экономическое положение улучшилось, когда с конца ноября по газетному объявлению я получил приглашение репетировать по вечерам группу отстающих учеников первой гимназии по древним языкам. Получить эту работу помогло мне то, что я окончил с золотой медалью именно Нежинскую гимназию, пользовавшуюся особенно надёжной репутацией по классическим языкам. Я занимался до конца первого полугодия с учениками 3-го и 4-го классов. Уходя в 9 часов вечера с урока из 1-й гимназии, я всякий раз восхищался светом нескольких, только что впервые в Москве устроенных дуговых фонарей («электрическими солнцами», как их тогда называли), освещавшими сквер вокруг храма Христа Спасителя. По своей архитектуре и гармоническим пропорциям это здание в византийском стиле, не пользовавшееся хорошей репутацией у искусствоведов, вызывало у меня всегда непосредственное, невольное восхищение.

Вечерние мои занятия в 1-й гимназии связаны с одним комическим воспоминанием. Я с детства усвоил привычку, ставшую для меня непреодолимой, — не затруднять других обслуживанием меня. Позднее мои друзья считали это проявлением «толстовства», потому что я не даю чистить свою одежду и сапоги, не позволяю подавать мне пальто и пр., а делаю это сам. Но у меня в этом нет никакой надуманности, а просто привычка. В вестибюле первой московской гимназии стоял «ливрейный швейцар». Вечером ему делать было нечего, и он настойчиво пытался снимать и подавать мне пальто. Нужно сказать, что и само-то форменное моё студенческое пальто, приобретенное на Сухаревке за четыре рубля и соответственно потёртое, совсем не заслуживало такой чести, чтобы его подавал столь почтенный ливрейный швейцар. Когда я всё это ему изложил и, поблагодарив за внимание, попросил не затруднять себя, да и меня тоже, он признал мою просьбу и мои доводы необоснованными и не заслуживающими уважения. «Ведь вы же, господин, кончите университет, будете служить, дослужитесь и до генерала. Значит, нужно теперь научиться держать себя как полагается по чину. Вот и приучайтесь». Я по пунктам представил ему свои контрсоображения, но он упорно, с благожелательной улыбкой продолжал свои бесплодные попытки «образовать» меня.

На время рождественского перерыва я оставался в Москве. Несколько раз на один–два дня уезжал в Петровское-Разумовское, где гостил у своих новых знакомых Морева и Тимонина, студентов Петровской академии, с которыми я познакомился в союзном земляческом совете. В то время (1889–1890 гг.) они были редкими представителями студенчества, серьёзно занимавшимися экономическими вопросами и читавшими «Капитал» Маркса.

Начало нового учебного семестра в январе 1890 г. после рождественских каникул связано прежде всего в моих воспоминаниях с «Татьяниним днем», с днем годового праздника Московского университета. По уже укоренившейся традиции этот день ежегодно отмечался общестуденческим банкетом в одном из крупнейших ресторанов, в «Эрмитаже». Банкет начинался несколькими приветствиями, речами профессоров, в том числе самых старейших. Но основным и главным содержанием вечера было всеобщее пьянство, которое заканчивалось тем, что и студенты, и профессора на главной лестнице, в общем зале, в коридорах, везде лежали вповалку совершенно пьяными, либо их уносили и отправляли домой в извозчичьих санях. Боюсь, что теперь всё это может показаться преувеличением, так же как преувеличением, сгущением красок казалось это и мне, когда мне рассказывали о предстоящем банкете.

В то время у меня завязалось близкое знакомство с одним товарищем по работе в анатомикуме — Селенкиным из Вятки, а через него и с его братом — филологом старшего курса, ходившим на костылях после ампутации одной ноги. Старший Селенкин был очень начитанный, умный, передовой человек, всегда возмущавшийся оскудением общественно-этического кругозора студенчества. Опираясь на полное сочувствие нескольких моих товарищей по нежинской гимназии, ставших студентами разных факультетов, мы решили устроить литературно-вокальный вечер в Татьянин день и провести агитацию, чтобы отвлечь студентов, в особенности самых молодых, от безобразного пьянства на банкете. Продумали программу вечера с докладами по истории Московского университета и его роли в развитии русской науки и культуры, с вокальными и музыкальными номерами. Нужно было собрать средства для найма помещения, что оказалось гораздо труднее, чем мы предполагали. Однако, хотя и скромное, помещение было подготовлено и было получено согласие на выступление намеченных исполнителей. Вечер решили начать в 10 часов, с тем, чтобы успеть отвлечь для участия в нем студентов, которые соберутся в «Эрмитаже».

В Татьянин день часов в восемь мы были в ресторане. К девяти часам отзвучали две-три речи приехавших уже не совсем трезвыми «лидеров» Татьяны, с демагогическим восхвалением студенчества и с ещё большим восхвалением Бахуса. Некоторые молодые студенты, впервые отмечавшие Татьянин день, с удивлением относились к тому, что наряду со студентами пьют и поют их профессора. Не было ещё и десяти часов, когда на лестнице уже валялись «в лёжку» пьяные. Мы обращались с призывом к более молодым, не опускаться до уровня тех, кто роняет великие заслуги университета. Мы приглашали, в виде протеста против омрачения пьяным разгулом светлого дня праздника высшего образования в России, отправиться с этого банкета на наш вечер. Успех нашей агитации был более чем скромным. Когда мы с большим опозданием явились на наше мероприятие, мы оказались в обществе не более двух-трёх десятков товарищей. Насколько у нас хватило выдержки при таком полном провале нашего начинания, мы пытались придать намеченное содержание нашему общению и скромному чаепитию. Расходясь уже далеко за полночь, решили зайти в «Эрмитаж». Там продолжалось хаотическое пьяное пение, широкая лест-

ница была усеяна завершившими свое веселье привычным для Татьянина дня состоянием.

С начала второго семестра в январе 1890 г. в Московском университете начал читать, тогда лишь в качестве приват-доцента, курс лекций о физиологии головного мозга И. М. Сеченов<sup>1</sup>. С первой же лекции и до моей высылки из Москвы я слушал все его лекции. Читал он в большой аудитории профессора Зернова в анатомическом здании. Вся аудитория бывала доверху заполнена. В первых рядах сидело много профессоров. Замечательна была манера чтения лекций И. М. Сеченова. Он точно вёл разговор с кем-нибудь из слушателей. Построение речи отличалось исключительной простотой и доходчивостью. Иногда, остановившись перед одним из слушателей, он как бы убеждал его своим изложением.

Только со второго семестра начал читать лекции по минералогии профессор Толстопятков. Первая же лекция, служившая как бы введением в курс, буквально захватила всю аудиторию. Широкими обобщениями он создавал представление о единстве всей вселенной, единстве материальных начал, единстве и закономерности присущих им движений, а потому и форм тех образований, которые складываются из материи. Кристаллы в его вдохновенном описании оживали до предшественников живой природы, и в то же время в их изучении открывался путь к возможности познания общих законов более сложных образований.

С февраля предстояли занятия по физиологии растений у Тимирязева<sup>2</sup>. Он согласился читать нам, медикам, свой курс, как необязательный на нашем факультете, в случае, если составитя достаточное количество желающих. Обязательный для медиков курс ботаники читал профессор Горожанкин, с преимущественными занятиями по водорослям и по общей систематике растений. При моих прогулках в октябре в район Нескучного сада и, в особенности, в местах, где ныне Парк культуры и отдыха, а тогда были свалки мусора, я приносил большое число видов цветущих растений (из сложноцветных — ромашку и осоты, много зонтичных, крестовидных и губоцветных), которые были мне хорошо известны ещё с детства и служили теперь предметом определения на практических занятиях, которые проводил один из ассистентов профессора Горожанкина. Я был поклонником исключительной по искусству и доступности изложения, замечательной книги К. А. Тимирязева «Жизнь растений». С глубоким интересом и удовлетворением слушал я публичную лекцию Тимирязева в аудитории Политехнического музея. Лекция сопровождалась изумительными по наглядности демонстрациями процесса роста растений. Естественно, что я вёл большую агитацию среди медиков, чтобы записывались на необязательный

<sup>1</sup> Сеченов Иван Михайлович (1829–1905) — создатель русской физиологической школы, мыслитель-материалист, член-корреспондент (1869) и почётный член (1904) Петербургской академии наук, автор классических трудов по физиологии высшей нервной деятельности и пр.

<sup>2</sup> Тимирязев Климент Аркадьевич (1843–1920) — российский естествоиспытатель, один из основоположников русской научной школы физиологии растений, член-корреспондент Петербургской академии наук (1890).

курс Тимирязева. Запись шла успешно, и была полная надежда, что в феврале или марте профессор начнет с нами свои занятия. Как курьёз, вспоминая мой разговор с товарищем по первому курсу, сыном Льва Николаевича Толстого, мало симпатичным Львом Львовичем. В то время он отрабатывал очередные препараты по анатомии. Но, даже приходя в анатомический театр, он подчеркнуто звал швейцара, чтобы тот снял с него шинель. Вообще он держался как типичный белоподкладочник, графский сынок. На моё предложение записаться в группу для занятий по физиологии растений он ответил отказом и в оправдание стал совсем неосмысленно ссылаться на то, что его отец, Л. Н. Толстой, доказал ненужность и бесполезность ботаники как науки. Я посоветовал ему не ссылаться так необдуманно на Л. Н. Толстого и уже не возобновлял с ним этого разговора. Позднее этот неудачный отпрыск великого отца достаточно бесславно подвизался в качестве «писателя» в пресловутом суворинском «Новом времени».

С января 1890 г. был введён новый устав в Петровской академии, тождественный с университетским уставом 1887 г., которым окончательно бюрократизировалось всё высшее образование, уничтожались последние остатки свободы преподавания, запрещались какие бы то ни было студенческие организации. В связи с этим возникли студенческие волнения, сначала среди студентов Петровской академии, а затем и в Московском университете. В поддержку Петровской академии и для предъявления требований студенчества об отмене устава 1887 г., была назначена общестуденческая сходка во дворе старого здания университета.

В назначенный час из химической лаборатории вышли студенты старших курсов естественного факультета, к ним присоединились из анатомического здания студенты-медики, и с Моховой улицы из нового здания университета стали подходить студенты-юристы и филологи. Сходка ещё не успела organizоваться, как во двор с Никитской улицы и через проход с Моховой въехали, очевидно, заранее подготовленные конные жандармы и казаки с занесёнными в воздухе нагайками. Они быстро оцепили главную массу собравшихся и отрезали отдельные группы подходивших студентов. В это время в середине окружённых была прочитана резолюция о поддержке всех требований студентов Петровской академии и о единодушном требовании студенчества Московского университета об отмене вредного для дела образования университетского устава 1887 г. А тем временем во двор были введены многочисленные полицейские наряды, двойным кольцом окружившие нас. По приказу офицера задние ряды казачьего отряда стали напирать крупами коней на окружающих студентов, вытесняя их со двора через проход на Моховую улицу, которая оказалась оцепленной полицией. Всех участников сходки, оцепленных пешим и конным отрядами, провели по Моховой и через широко открытые ворота втокнули в здание Манежа. Ворота закрылись. Проходили часы, нас держали в Манеже, не позволяя никому выходить и отказываясь передать какие бы то ни было наши заявления. Только к вечеру разрешили собрать деньги и передать для закупки булок. Поздно ночью нас переписали и в окружении конной и пешей полиции провели по ночным улицам Москвы в Бутырскую тюрьму. В той группе, в которой был я, оказалось около четырёхсот студентов разных курсов

и факультетов. Большие камеры пересыльной тюрьмы были открыты в общий коридор, и мы разместились на отдых на голых нарах.

Утром следующего дня были выбраны старосты для организации питания. Началась шумная студенческая жизнь. Попытка тюремного начальства закрыть на замок и разобщить камеры вызвала чрезвычайное возмущение, и камеры вновь были открыты. Скоро в самой обширной камере было сооружено возвышение из нар, устроена кафедра и, сначала совершенно неорганизованно, начались выступления добровольцев-певцов и рассказчиков. Из уст в уста передавались всякие слухи, непроверенные, часто совершенно вздорные.

Очень скоро наладился выпуск первого рукописного листка — «Бутырского слова». В одной из более тихих камер устроилась редакция, работавшая под руководством юриста старшего курса, с целым штатом сотрудников, корреспондентов, фельетонистов, рецензентов. Изготавливалась газета в одном экземпляре. В ней помещались выдержки из проникавших с воли «Русских ведомостей». Когда очередной номер бывал готов, все камеры оповещались о предстоящем его громком чтении. Народ густыми толпами спешил слушать «Свободное слово». Особенно большой интерес стал вызывать выход газеты, когда появилось другое издание, остроумно и иногда очень удачно воспроизводившее реакционный правительственный орган «Московские ведомости». Между «Свободным словом» и «Бутырским словом» развернулась полемика. Было организовано несколько комиссий: лекционная, литературно-концертная, статистическая. В последней комиссии я провёл работу по «всеобщей народной переписи» и по разработке её материалов. Нас, имевших между собою общение через соединявший камеры коридор, оказалось более 400 человек. На следующий день было приведено в Бутырскую тюрьму ещё несколько сот студентов, пытавшихся собраться на сходку. Но они были размещены в другом крыле и не могли установить с нами общения.

В шумной, бурлящей и бушующей жизни нескольких сот студентов невольно бросалось в глаза полное отсутствие навыков и приёмов к организованному общежитию. Не было даже представления о том, что для возможности высказаться нужно соблюдать очередь и порядок, а для поддержания порядка необходимо какое-то руководство, нужно выбрать ведущего-председателя, секретаря. Это казалось каким-то нарушением общей свободы. Проводя при переписи личный опрос каждого в отдельности, я всячески убеждал в необходимости выбрать председателя и подчиняться на собраниях порядку, говорить, только получив слово и пр. Теперь кажутся просто невероятными хаос и анархия, господствовавшие на студенческих собраниях. Но, ведь, чтобы усвоить необходимые приёмы и навыки многоязычных общественных собраний, понадобилась длительная послереволюционная практика всяческих собраний и митингов, и особенное «общественное воспитание» под руководством пришедшей к власти партии и комсомола.

Пребывание в Бутырках затягивалось. Поднятый в бутырском «Свободном слове» вопрос об открытии в тюрьме чтения университетских курсов встретил широкий отклик. Был разыгран фарс торжественного открытия

«Бутырской академии». Один из старост, студент-медик Вегер, выделявшийся зычным голосом и большой окладистой бородой, был избран ректором и произнес на торжественном собрании ректорскую речь. Открылось чтение лекций на юридическом и естественно-историческом факультетах. Но в это время началась развязка затянувшейся «Бутырской эпопеи».

В один из первых мартовских дней я был вызван в тюремную контору, где мне сообщили, что по решению специальной административной комиссии я уволен из университета и высылаюсь под гласный надзор полиции в распоряжение Черниговского губернатора. В конторе меня продержали до позднего вечера, затем я был передан жандармскому унтеру, которому вручили пакет «с приложением студента Френкеля», адресованный Черниговскому губернатору Анастасьеву.

С тоскливым чувством бессилия и бесполезности сидел я бок о бок с плотным жандармом, увозившим меня на Курский вокзал. Там он усадил меня на одну скамейку с собою, принес мне хлеб и чай, попросив расписаться в получении довольствия. В пути мы не развлекали друг друга разговорами. Трудно мне пришлось при переезде от станции Круты до Чернигова: несколько перегонов на почтовых лошадях по зимнему пути в моей лёгонькой шинели. Я зарывал нос в сено, чтобы не отморозить, да отогревался чаем, пока меняли лошадей на почтовых станциях. Рано утром жандарм доставил меня в канцелярию губернатора. Невзирая на ранний час, губернатор уже совершал свой утренний обход. Жандарм с пакетом и я в качестве приложения к пакету оставались довольно долго в передней, ожидая его. Губернатор вошел с улицы в пальто и, по тогдашнему обыкновению, с тростью. Жандарм, отдав ему честь, отрапортовал о доставке высланного и вручил пакет. Пробежав препроводительную бумажку, Анастасьев сделал несколько шагов в моем направлении и, потрясая своею тростью, повышенным голосом обратился ко мне: «Вы, милостивый государь, поехали учиться, а вместо этого занимались политикой. Если вы попали под гласный надзор ко мне в губернию, я вас отучу от политики. Я вам покажу!». Он выразительно повертел своею тростью в воздухе и, обращаясь к своему делопроизводителю, приказал: «Отправить его с околоточным в Остёр!» С этими словами его превосходительство проследовал в свои апартаменты.

Через несколько минут делопроизводитель отправил меня с городовым в полицейскую часть. Там меня много часов продержали за решеткой, где были задержанные за всякие провинности и, наконец, я был отправлен с полицейским опять на почтовых в довольно долгий путь из Чернигова в Остёр. Я опять мучительно промёрз. С жутким волнением проехал я мимо нашего сада в Попенках и был доставлен в Остёр, из-за позднего времени — на квартиру к становому приставу Федорову. Он хорошо знал моего отца, вероятно, и меня не раз видел, когда, проезжая по «своему стану», заезжал к нам в сад и получал, сколько хотел, отборных фруктов и лучших овощей. Он выразил, впервые за весь мой путь от Бутырок, простое человеческое сочувствие мне, высказал тревогу, не заболел ли я, промёрзнув в дороге, устроил мне у себя тёплый ночлег и ужин. Утром он сам лично отвёз меня в Попенки и сдал меня, как состоящего под гласным надзором,

отцу под расписку. Разумеется, он знал, что его любезность, доставка меня к родителям не останутся без «благодарности»<sup>1</sup>.

Мне трудно и больно даже сейчас, 70 лет спустя, вспоминать о том огорчении, которое было невольно причинено мною моему отцу, глубоко страдавшему, что рушится его жизненная мечта дать детям высшее образование. Весна в тот год выдалась небывало ранняя. Ещё в марте была первая гроза. Я втянулся в весенние работы: помогал старшей сестре в разбивке новых грядок, затеял и собственноручно осуществил устройство особой грядки для посадки винограда. В точности по описанию в руководстве выкопал довольно глубокую канаву, на дно её насыпал битый кирпич и щебень, потом заполнил канаву хорошо удобренной землей с добавлением извести и рассадил кусты винограда. Позднее этот труд не пропал даром. Виноградник плодоносил. Когда началась ранняя пахота под яровые посевы, я пахал на новом колесном плуге землю на десятинах, лежавшей на общем поле с яровым клином крестьян из села Скрипчик. В то время крестьяне пахали только сохой, которая забирала землю лишь на глубину 2–3 вершка. В этой части Остёрского уезда глубокого чернозёма нет, а тонкий пахотный слой лежит на глине. Отец стремился к глубокой вспашке, борясь с частыми засухами. Неодобрительно относились к моей вспашке колесным плугом, который забирал землю на глубину вдвое большую, чем при вспашке сохой. «Що ж це вы робитьте, Захарий», — говорили скептические соседи, — «знівiчете землю». Лето в тот год было засушливое. Овсы у соседей оказались низкорослыми, тонкими, а на нашей десятинах в том же поле овёс был хороший, здоровый. Это была наглядная агитация против сохи.

Стараясь напряжённым физическим трудом заглушить неуспокаивающуюся тоску по московской студенческой среде и гложащую тревогу за будущее, я занялся приведением в порядок запущенного сада: окапывал деревья, обрезал лишние ветки, омолаживал стволы и т. д. Моей ближайшей помощницей сделалась младшая сестра, тогда ещё десятилетняя Женя. С того времени я понемногу начал с ней заниматься и между нами зародилась дружба, продолжавшаяся и в последнюю пору жизни.

Со второй половины лета отец начал беспокоиться, чтобы я не упустил возможности всё же поступить хотя бы в Харьковский или Киевский университет. Формально это право у меня было отнято, но из писем московских друзей можно было заключить, что некоторые из тех, кто попал в одну со мною категорию, уже по ходатайству профессоров вновь приняты в университет. Через своих знакомых отец получил письмо к ректору Харьковского университета. Я написал прошение в Киевский университет с просьбой зачислить меня в число студентов медицинского факультета. Од-

<sup>1</sup> Всё рассказанное Захарием Григорьевичем об его аресте и высылке на родину подтверждается документами Департамента полиции. Кроме того, в них говорится, что: «...по увольнении из Московского университета Френкель, как усматривается из сообщения московского обер-полицеймейстера от 19 февраля 1891 г., получал содержание (по 15 р. ежемесячно) от организовавшейся в Москве «Центральной кассы» землячеств, членом коей он ранее состоял». ГАРФ. ДП. Ф. 102. Д. ОО. 1898. Оп. 226. Д. 622. Л. 1–2; 1890. Д. 126. Ч. 1.

нако и из Харькова, и из Киева я получил категорические отказы. Не была успешной и моя попытка поступить в Варшавский университет.

Я уже начал терять всякую надежду на продолжение учебы. Моя отсрочка по отбыванию воинской повинности заканчивалась 1 октября, и к этому сроку нужно было либо поступить в университет, либо явиться в казармы и совсем отказаться от мысли об окончании начатого образования. Спасение пришло от московских друзей, посоветовавших мне попытаться поступить в Дерпте (Тарту, Юрьеве). Однако на дорогу до Прибалтики требовалась довольно большая сумма денег, которой у отца не было. Чтобы изыскать средства добраться до Дерпта, мне пришлось расстаться со своей золотой медалью, которую я получил по окончании гимназии. Наконец родители собрали для меня все необходимое, и с их благословением и добрыми напутствиями я отправился в новый для меня мир.

## В Дерптском (Юрьевском) университете

Иные впечатления от новой, незнакомой обстановки не стираются в нашей памяти, не тускнеют и через многие десятки лет последующей жизни. Так сейчас, через 70 лет, живо встают передо мною впечатления от вида из окна железнодорожного вагона, когда в сентябре 1890 г. я впервые подъезжал к Тарту, тогдашнему Дерпту.

Вечерело. По небу низко проносились тучи. В разрывах между ними временами открывалась синева неба и светило склонявшееся к горизонту солнце. Осенний вид полей Прибалтики для меня был новым и казался совершенно необычным. На Украине, откуда я ехал, где родился и прожил всю предшествующую жизнь, не только яровые (ячмень, овес), но и озимые (рожь, пшеница) в эту осеннюю пору давно уже были убраны, а здесь на хорошо возделанных полях густой стеной зеленел овёс, целые участки были покрыты сочным, тучным клевером. Проходившие местами дороги были не широкие, привычные моему глазу украинские «шляхи», а какие-то аллеи, обсаженные подстриженными липами. Все создавало какое-то новое впечатление, будило во мне чувство чего-то чуждого. Но вот и конец путешествию. Поезд пришел в Дерпт. Без всяких предместий начался город у самого вокзала. Это впечатление чего-то чуждого, чего-то оторванного от всей моей предыдущей жизни продолжалось у меня и в последующие дни и в самом Дерпте.

Старое университетское здание — массивное и какое-то ординарное, с небольшой канцелярией, в которой всех и по всем вопросам принимал Herr Secretar Bokownev — секретарь Боковнев, говоривший по-немецки, но иногда отвечавший и по-русски. Он сразу же принял от меня заявление и все документы и сказал, что мне нет необходимости обращаться ни к ректору, ни к проректору, а нужно просто ждать: он, Боковнев, пошлет в Московский университет запрос обо мне. Когда получит на запрос ответ, тогда определится дальнейшее положение. Так мне и осталось неясным, что же мне делать — устраиваться ли, или собираться в обратный путь?